



Владимир
Ситников

Летние
гости

Владимир
Ситников

Летние
гости

повести

МОСКВА
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1986

Художник
ВАЛЕРИИ КРАСНОВСКИЙ

Ситников В. А.

С 41 Летние гости: Повести.— М.: Советский писатель
1986.— 528 с.

Повести, составившие эту книгу, посвящены людям одной из областей Нечерноземья. «18-я весна» — о первых годах становления Советской власти в бывшей Вятской губернии. «Русская печь» — о тяжелых испытаниях, выпавших на долю колхозного крестьянства в годы Великой Отечественной войны. «Летние гости» — о восстановлении, об острых проблемах послевоенного сельского хозяйства.

Писателя волнуют и судьбы молодежи, поиски ею верного пути в жизни, преемственность поколений.

4702010200—120
С—141—86
083(02)—86

ББК 84.Р7



ГЛАВА 1

В захолустной немоте ночи вдоль улицы пробухал сапогами солдат. Обрадованно залились в подворотнях собаки, а с полдюжины, видно самые молодые и азартные, бросились вдогон. Эти так и норовили уцепиться за летящие полы шинели.

— Пуще проси, Филя! — протяжно неслоь от калитки. — Не робей! В окопах, поди, бахорить обучился.

Это наставляла Филиппа Солодянкина его мать.

Устав от бега и собачьего лая, он сгреб пригоршню мерзлых конских катышей и расшвырял их в собак, сразу потерявших к нему интерес. Сбив свою злость, Филипп двинулся шагом. Он был сердит оттого, что в этакую позднь пришлось вытряхиваться из тепла на стужу, что в первый же вечер мать ни за что ни про что устроила ему нахлобучку.

Еще поутру, когда Филипп, пропахший вагонным смрадом, скатился по испревшим ступеням в подвал, мать гладила его почужевшее, черное от многодневной щетины лицо и всхлипывала:

— Жданой солдатик. Живой...

Он был весь полон тихой радости. Оглядывая почему-то ставший ниже и меньше подвал, половицы с выпиравшими, будто лодыжки, сучьями, успокаивающе повторял:

— Чего реवेशь? Не реви. Дома ведь я.

Хорошо, когда возвращаешься с чужой стороны в домашнее тепло. Мать до отвала накормила его вареной картошкой с припасенными для этого раза мелкими, что обивочные гвоздочки, рыжиками. Под рыжики поставила закупоренную бумажной затычкой потную бутылку самогонки, попытала:

— Научился, поди, в окопах-то?

— Кислое там вино, — сказал Филипп, но по тому, как неспешно наполнил рюмки, понятно было — разливать при-

ходило. А иначе, поди, застыл бы на железной крыше, пока везли до Вятки.

Мать ласкала его взглядом, удивлялась:

— Не знаю, почто ты вырос агромадной такой. Почитай, один ржаной хлеб ел.

— И я не знаю.

Мать была такой же непоседливой. Только что тут, у стола, хлопотала — глядь, уже стучит чугуном около печи. Когда на свету разглядел, увидел, что совсем старушечьи морщины стянули губы. Подумал: «Стану в мастерских опять слесарить, пускай она дома посидит. Денег зароблю».

— Ты не больно бегай-то. Сядь вот.

Посидели. Мать, то и дело вскакивая, стала рассказывать, что все ныне рехнулись: и мужики с булычевской текстилки, и чернотропы из мастерских ходят с ружьями. Красногвардейцы какие-то. Пуляли третьего дня. А по осени временная власть выпустила в Шевелевскую ложбину целную реку спирту. Весь город был там — кто с ведром, кто с бураком, а кто и с водовозной бочкой. Бают, запились на-смерть некоторые алчные мужики.

Филиппу это было не больно удивительно. Видал: солдатня целные цистерны этого спирта ради дюжины котелков выпускала. Такое уж буйное время началось.

Так они разговаривали поутру. А вечером мать, прибежав домой, швырнула камышовую сумку в угол и заругалась.

Ругала она всех: и новую власть, и эконома господина Жогина, и Филиппа, и голодных ребятишек, которые ревмя режут в приюте.

Приютская кухарка Мария Солодянкина была не из боязливых. Не зря пупыревские языкастые бабы окрестили ее «Маня-бой». Она бросилась в дом эконома господина Жогина. В разбитых валенках протопала по зеркальному паркету. Степан Фирсович Жогин старательно обихаживал щеточкой белые, что молоко, усы и рассуждал со своим зятем, поручиком Карпухиным. Поручик курил похожую на музыкантскую дуду трубку. Окутывая свой широкий с залысинами лоб табачным дымом, кричал: похоже, недоволен был самим господином Жогинным.

Заметив Марию, оба повернулись. У поручика перекошило щеку.

— Ты ведь знаешь, что теперь везде другие начальники,— подняв щеточку, ласково объяснил Степан Фирсович.— Пусть они и отвечают. Я из идейных, из политичес-

ких соображений снимаю с себя обязанности. Пусть они отвечают.

Эконом приюта не любил грубых слов и крика, а Манябой на этот раз не поняла его доброты, утираясь фартуком, закричала:

— Где совесть-то ныне у людей? Сорок семь душ на шее, все исть хочут.

— Иди, иди, милая, — стараясь не слушать ее, помахал рукой Жогин, а поручик Карпухин вскочил с дивана и прикрикнул на эконома:

— Вот так мы их и распустили! — Он подскочил к Марии, повернул ее к двери, подтолкнул: — А ну, марш отсюда! Живо выметайся!

И вот теперь Филипп Солодянкин, сердитый и заспанный, идет неизвестно куда искать управу у новой власти.

Он поднялся на взгорок к березовому садочку и ходко зашагал вниз, к Спасской. На углу малиново пыхали сигарки. Не узнаешь, что за люди. Хоть бы палку подобрать. Успокаивая себя, подумал: «Чего с меня взять?» — и шагнул навстречу огонькам.

— Кто такой? — просипел простуженный голос.

— Свой.

— Кто свой-от?

Над головой стоящего блеснуло жало широкого японского штыка. «Красная гвардия», — понял Филипп и бодрее сказал:

— К начальству вашему дело.

— Что за дело-то?

— Там скажу.

— Сопроводи его, Гырдымов, — приказал сиплый голос.

Уже по первому окрику: «Шевелись, что ль!» — понял Филипп, что это тот самый Гырдымов, с которым он вместе призывался в солдаты. Парень был говорун. Всех веселил. «Двух сантиметров в грудях не достача, а то бы в прапора вышел».

— Ты, Гырдымов, потише, прямо в крыльца мне штыком тычешь, — не столько из-за того, что колол конвойный в спину, просто чтоб узнал его, сказал Филипп.

— Не разговаривай давай! — прикрикнул тот.

— Эх ты, дура, не узнал, что ль? Филипп я, Солодянкин. Забыл, медовуху пили?

— Помолчи давай! — прикрикнул опять Гырдымов. — Может, ты контра? Пили при старом строе.

Филипп захохотал, но Гырдымов не пошел с ним рядом, только винтовку повесил за спину. Осторожничал.

Под широким навесом бывшей губернаторской канцелярии, от которой еще по зиме отгонял свирепой улыбкой осетин в черкеске, держался зеленоватый потусторонний свет керосинокалильного фонаря. Кто-то писарским почерком вырисовывал на грифельной доске: «Вятский Совет». «Сюда и надо», — понял Филипп.

На свету увидел он, что Гырдымов тот самый, с которым призывался. Только теперь у него от виска к подбородку поблескивающий молодой кожей шрам. И стал он поплотнее, возмужал.

— Ужасно сильно разукрасили тебя, — сказал с пониманием Филипп.

Антон Гырдымов нехотя объяснил:

— Кирасир мазнул.

«Птицей важной, видать, он заделался при новой власти, коли разговаривать затрудняется», — решил Солодянкин.

Его ввели в квадратный зал с мраморным камином, около которого за голым столом сидели изнуренные люди. Гырдымов подскочил к одному, чуть ли не прицелкнул каблук. Филипп сразу узнал того человека: маляр железнодорожный — Василий Иванович Лалетин. Глаза с азиатской косинкой, в цыганской бороде искрится ранняя седина. Ему бы Филипп сам обо всем сказал. Но Антон уже докладывал:

— Задержан подозрительный.

«Это я-то подозрительный? — удивился Филипп. — Вот хлюст», — и, отодвинув плечом Гырдымова, крикнул:

— Ты не плети ерунду! Какой я подозрительный? Вместе с тобой призывался. Я, Василий Иванович, по приютскому делу. Ребенки голодуют.

— Молчи, — одернул его Гырдымов, — я по всей форме докладую.

— Ладно, Антон, — сказал Василий Иванович. — Ну, говори, мил человек! — И сунул руку под бороду. У него и раньше была такая привычка.

Филипп решил ломить напрямик. Не из-за себя ведь пришел.

— Я не знаю, как тебя теперь, товарищ Лалетин, звать-величать, ране-то ты известный мне маляр был, но чепуха на постном масле выходит. Второй день ребенки в приюте голодают, — петушисто начал он.

— Уж не Гурьяна ли Солодянкина сын? — прищурил лукавые глаза, спросил Лалетин.

Филипп расплылся в неудержимой улыбке.

— Конечно, я,— и посмотрел на Гырдымова: и мы здесь не безвестные. Отцу в кузнечный цех не один год узелок с обедом таскал и сам в механическом начинал слесарить, с Василием Ивановичем, почитай, каждый день виделся.

— Посиди, мил человек,— положив тяжелую, в несмысливаемых чешуйках краски руку на плечо Филиппа, попросил Лалетин,— с электростанции ребята пришли. С ними надо в первую голову поговорить.

Неуклюжий солдат выложил на стол мазутные пятерни и, словно читая по ним, начал рассказывать Лалетину и второму, в нерусском френче, с испитым лицом. Говорил он о том, что электросвета не будет, начальник станции удрал, а машину попортили механики. Вся надежда на приезжих матросов — есть ведь промежду них машинисты!

По великанской фигуре Филипп сразу понял: говорит слесарь Василий Утробин, хотя тот и был, как офицер, весь в ремнях. Если на досуге, и этот бы узнал его.

Человек во френче, слышно, Попов по фамилии, сухой, с тщедушной грудью, послабее каждого из здешних, а распоряжается всеми. Взглянул глубоко сидящими с недружелюбным блеском глазами на Утробина.

— Ищи машинистов, веди на электростанцию!

Тот, нагнувшись папаху, пошел к выходу.

В зал то и дело вваливались солдаты, матросы из балтийского экипажа «Океан», рабочие в криво подпоясанных ремнями шубах. Они, оттирая уши, грохотали прикладами. Плохо приходилось усатым — те еще выдирали сосульки.

Почти все эти люди докладывали о своих делах то Попову, то Лалетину и снова уходили или, сунув винтовку меж колен, тут же, сидя на полу, подремывали до приказа. Среди этих, положив голову на подоконник, спал подросток в наброшенной на плечи реалистской шинели с желтым галуном. Иногда он поднимая осунувшееся лицо, озадаченно смотрел вокруг и снова ронял чугунную голову. «Этот-то что тут делает?» — удивился Филипп.

Некоторые красногвардейцы шли к стене. Там прямо на полу стояло цинковое ведро с водой, а на брезенте грудилась целая гора солдатских караваев. Прислонив винтовки к плечу, люди тут же ели хлеб, запивая водой. Гырдымов тоже пристроился там, отломил краюху и ел.

«Ишь караваев сколько натащили себе», — с неприязнью подумал Филипп, вдруг ощутив в желудке посасывающую нудь. Он бы тоже вцепился зубами в пахнущую медком

хлебную горбушку, но его никто не звал. «Где там Лалетин, забыл, что ли?»

Чтобы не смотреть на хлебную гору, он опустил взгляд. Диковинный пол был в этом зале. Сквозь нанесенную из щелей и с железнодорожных путей грязь проступал на нем мудреный узор, выложенный из разных пород дерева. Вот дуб, побелее — бук, а черное что? Так и не распознаешь. Завозное какое-то дерево. Летали, наверное, по этому шикарному полу легкие туфельки и лаковые штиблеты. А теперь ходят растоптанные валенки, кованые матросские башмаки. Отплясались штиблеты, отпрыгались туфельки.

Вдруг снизу донесся крик, и в дверях появился кудлатый матрос с маузером, болтающимся у подколенки. Следом за ним вершковым шажком плелся усатый старик в буржуйской шубе, в пенсне с высоким седелком. У него дрожали усы, и он неразборчиво бормотал:

— Как можно? Это ошибка. Я...

— Молчи, по роже видать, что буржуй. Допросите-ка революционным словом, товарищи, чего в таком ящике тащит! — кричал матрос, заметая штанинами пол.

На улице калил мороз, а у этого полосатая грудь напекла. Здоров бычина!

Старик с трудом переглотнул, снял пенсне и протер стеклышки бахромой шарфа.

— Я шел домой.

— Шел, шел... Задерживали революционным словом, почто не остановился? — гремел матрос.

Вдруг откуда-то вывернулся спавший у окна реалист. Он испуганно подтащил кожаное кресло, усадил старика, сбегал за водой.

— Выпейте, Николай Николаевич. — И окрысился на матроса: — Ты что, Курилов?! Это художник. Не видишь, этюдник у него.

Старик, отстраняя кружку, закивал головой.

— Этюдник, — проговорил старательно матрос, — но, братцы, божья мать, мы ж для того, нет ли чего. Ящик армейского фасону.

Реалист, извиняясь, довел художника до дверей, подозвал русобородого солдата:

— Проводи Николая Николаевича до дому.

И теперь выглядел реалист совсем еще подростком, хотя и уверенно распоряжался здесь.

— Товарищ Капустин! — крикнул ему Лалетин. — С приютом, оказывается, заваруха. Наверное, по твоей части?

И вот Капустин смотрит на Филиппа.

Вблизи он не похож на подростка. Подборист, в плечах сух, в глазах твердость.

— Из приюта? Два дня голодают? Далеко? — Подозвал Гырдымова. — Мешок разыщи и... хлеба.

Филипп взвалил на спину сладковато пахнущую торбу с хлебом и двинулся к выходу. Но уйти не удалось. Спешным шагом вошел высокий матрос с гардемаринским палашом. У этого и штаны были поуже, и тельняшки не видать.

— Докладывает Дрелевский, — донесся его голос. — Из Котельнича прорвался казачий эшелон. Громят станции, буфеты.

Слова произносил со старанием. Видно, нерусским был этот Дрелевский. Очень уж твердо выговаривал.

Минут через десять остались в зале только Попов, Лалетин да часовой в дверях. Остальных словно вымело: увел их с собой матрос с палашом по фамилии Дрелевский. И уже на всю Владимирскую заливались колокольчиками за окном почтовые тройки с красногвардейцами.

Филипп, идя с Капустиным и Гырдымовым по ночному запустению, слышал удаляющийся звон колокольников. Потом в стороне станции татакнул «люйс». Солодянкин по звуку узнал, что это не «максим». Тот говорит гуще. Видимо, Дрелевский предупреждал разбойный эшелон.

* * *

Мать в сбившемся платке отворила приютскую дверь и провела их в кухню, наполненную застарелыми скоромными запахами. В полкухни огромная, как плац, плита, заставленная по-колокольному гулкими баками и кастрюлями.

— Еле-еле толечко накормила. Болтушку из мучки ржаной сделала. Что уж дома нашлось. И то рвали-ели, бедолажки. Куды теперь будут их девать? — почував в Капустину главного, шепотом запричитала Маня-бой.

Капустин зашел в спальню, освещенную блеклым лепестком лампы, накинул на разметавшегося во сне парцашку одеяло, вздохнул.

— Сироты все?

— Сироты, — пригорюнившись, ответила мать.

— Уладим, Мария Семеновна, — сказал Капустин, выходя обратно в кухню. — А далеко живет этот Жогин?

Польщенная его уважительностью, мать стала еще словоохотливее:

— Не, недалеко. Да Филипп знает. Он укажет.

— Ночью, что ли, и пойдем? — озадачился Филипп.

— Вот сейчас пойдем.

Оглядываясь на приют, Филипп видел в окошке пятно: мать смотрела им вслед. Наверное, думала о том, что эти пришлые люди сделают с экономом. Филипп сам думал об этом. «Поучить-то бы надо его».

У эконома Степана Фирсовича Жогина было два собственных полукаменных дома. До гильдийных купцов не дотянул, но в почете был. Дочь Ольгу отдал за сына владельца водяных мельниц Карпухина. И оттуда, видать, ждал подпоры.

А в феврале вдруг стал Степан Фирсович революционером. Произносил речи о свободе. Однажды с балкона городского театра закатил такую «аллилуйю», что прапорщики, солдаты и гимназисты от восторга подняли его на руки. Он ехал на их плечах в распахнутой шубе, с алым бантом на лацкане мундира и от умиления вытирал слезы.

— Свобода! Свобода, друзья! Ура!

К осени у Степана Фирсовича поиступился язык, поистрепался алый бант. Те же солдаты и прапорщики однажды чуть не стащили его во время речи за штанину с крыльца Мариинской гимназии. Он обиделся. А теперь и вовсе, видать, озлился.

Филиппу идти к Жогинам не хотелось. Была на то особая причина — Ольга, дочь Жогина.

Об этой тайной любви кухаркиного сына не знал никто и вряд ли догадывалась сама Ольга. А он неспроста толкался около приюта: то ему удавалось увидеть, как она сидит с книгой у окна, то он по тени на занавеске видел, что наследница Жогина заплетает волосы, собираясь в гимназию.

Только однажды она заметила его и попросила:

— Послушай, достань мне галчонка из гнезда!

Она понимала, что он не сможет отказать ей, а он от неожиданной радости стал легким и белкой вскарабкался на одряхлевшую березу, сунул руку в дупло и, спустившись на землю, подал Ольге четыре трогательных рябеньких яичка.

— Нету еще галчонков-то.

— Ой, какие веснушчатые, — удивилась она. — Только почему у тебя такие ужасные ногти? Фу, как у орангутанга, — и сморщилась.

Филипп еле вскарабкался обратно к дуплу.

Ногти он остриг, надел новую рубаху и снова бегал в толпе приютских ребят, готовый по первому желанию Оль-

ги лезть на березу, драться с пьяными обидчиками. Он мечтал о том, чтобы на реке Вятке вдруг перевернулась лодка. Филипп бросился бы первым и спас Ольгу или любого другого человека. Тогда бы она заметила его.

Позднее, когда он уже работал, мать, не щадя Филипповой гордости, рассказывала о том, что у Ольги появился жених, настоящий офицер, что он за большие деньги, за целых пятьдесят рублей, купил у садовника Рудобельского такой цветок, который распустился как раз в день ее именин.

Филипп сердился и доказывал матери, что жених тут ни при чем, это Рудобельский мастак. Но мать стояла на своем: такие деньги за какой-то цветок.

А когда Филипп увидел сияющий свадебный поезд и рядом с Ольгой уже солидного, с залысинами, офицера, ему захотелось уйти на войну и вернуться домой с покалеченной ногой, но с двумя Георгиями. Тогда бы Ольга не прошла мимо него.

Теперь-то Филипп знал, каково киснуть в сырых окопах, кормить вшей. Но тогда он мечтал о военных подвигах.

В квартире эконома их окутало спертое тепло. Госпожа Жогина в букольках надо лбом испуганно зашептала:

— Как можно, господа? Среди ночи. Как можно? Это ты, Филипп, удружил нам?

Филипп не ответил. Не скажешь ведь, что он тут ни при чем. А может быть, и при чем. Сам ведь повел сюда Капустина и Гырдымова.

Мелькнуло в дверях тонкобровое лицо Ольги. Она пополнела, стала уверенной. С усмешкой взглянула на них. Прошла плавно, лебедушкой. Не заметно, идет ли, — будто по стеклу катится. Под ее насмешливым взглядом Филипп вдруг залился краской, качнув головой, пробормотал:

— Здравствуйте.

Но Ольга прошла не ответив.

Откуда-то выскочила плюгавая собачонка с котенка величиной и затыкала.

— Прянички, поди, только ест такая? — любопытничал Филипп и наклонился, чтоб не видели, каким рыжиком красным стал, но ему никто не ответил. Собачонка ощерила колкие зубы. — Ишь, маленькая, а сердитая, — сказал он сам себе.

Гырдымов отодвинул собачонку сапогом.

— А ну пошла! Где ваш хозяин-то?

Госпожа Жогина обиженно подняла пучеглазую собачонку на руки, прижала к себе. Она сама была чем-то похожа

на эту собачку. «Глаза,— догадался Филипп,— такая же она пучеглазая».

Вышел господин Жогин. Привычно поправляя степенный прибор, спросил:

— Чем могу служить?

— Собирайтесь,— хмуро сказал Капустин. Он узнал Жогина: тот самый златоуст, который кричал ему летом на митинге: «Научитесь сначала азбуке, Капустин! Пять слов — сорок ошибок».

Теперь, видать, вылинял, из розового стал бледненьким — саботажничает.

Степан Фирсович никак не мог привести в порядок прибор: плохо слушались руки. Он тоже узнал Капустина: обтрепанный реалистик с дыплячьей шеей стал управлять его жизнью. Куда это годится?!

— Я не могу идти. Ведь ночь. Как же так? — сказал он.

— Это вам надо задать такой вопрос: «Как же?» Как вы могли детишек голодом морить? — метнув сердитый взгляд в сторону Жогина, возвысил голос Капустин.

Степан Фирсович потянулся за щеточкой.

— А поскорее бы,— сказал зло Гырдымов и сел в кресло, широко расставив ноги. Его заинтересовала картина: мужик с козлиными ногами обхаживает красавицу. Красавица, почитай, пагешом обнимает его. Ей, видно, и невдомек, что у мужика-то чертенячьи копыта вместо ног. Филипп, когда первый раз был у Жогиных, давно, в детстве еще, долго раздумывал: есть ли на самом деле такие люди на копытах?

— Не пушу,— вдруг взвизгнула госпожа Жогина и кинулась к Степану Фирсовичу,— не пушу!

— Да, а все-таки на каком основании среди ночи? — спросил вдруг Жогин.

Капустин не успел ему ответить. Из-за занавески вышел ловкий, сухопарый, как танцор, поручик Карпухин в бреджах и подтяжках.

— А-а, товарищи,— крикнул он, будто обрадовался,— товарищи, товар ищи, ищи товар, тащи товар! — На смуглом лице ходили скулы. Глаза недобро поблескивали. — Знаю, на какие деньги переверот сделали, немцам продались. Я русский офицер... Знаю.

Гырдымов вскочил, сунул руку в карман. В это время в залез ворвалась Ольга. Она обняла Карпухина, пытаясь увести.

— Успокойся, Харитон. Слышишь? Нельзя. Я тебе запрещаю, Харитон!

Карпухин оттолкнул ее, шагнул к Капустину, но Ольга повисла у него на руке:

— Харитон, они тебя арестуют.

— Продались, Россию с молотка жидам продали. Я...— выкрикнул Карпухин, выкатывая глаза.

— Старо, господин офицер, старо,— с усмешкой сказал Капустин.

Казалось, его нисколько не затронул крик Карпухина. А Филипп уже побаивался, что начнется заваруха. У Гырдымова вон лицо без единой кровинки и рука в кармане шинели.

— Успокойтесь, Харитон Васильевич, успокойтесь. Для обоюдного успокоения...— проговорил вдруг Жогин и начал надевать пальто.— Я вернусь. Я подчиняюсь грубому насилию.

— На позиции я бы... Я бы...— кричал Карпухин в соседней комнате, куда утащила его Ольга. А здесь расходилась госпожа Жогина.

— Как вам не стыдно! Еще реалист. Наверное, сын хороших родителей? — кричала она Капустину.

— Вы мешаете мужу одеваться. А у нас нет времени,— веско проговорил Капустин, и Жогина напустилась на Филиппа, как будто он тоже явился арестовывать ее мужа:

— Ты забыл, как мы тебя одевали, как кормили?

— Пошто забыл-то? — растерянно сказал он и рассердился на себя. Ох, если бы сейчас были целы эти лифчики да панталончики, ненавистные жогинские обноски, он бы выкинул их прямо ей под ноги. Из-за чего, как не из-за этих обносков, дразнила его пупыревская вольница. Из-за этих же обносков мать выдрала его после того, как он спалил на костре у Юрченского пруда панталончики и явился домой в вольготных штанах из мешковины.

— Вот она, благодарность, вот,— заливалась госпожа Жогина, и Филипп не знал, что сказать. Ладно, обрезал ее Капустин.

— Ну, хватит упреков,— сказал он.

* * *

В приюте, ударяя ребром костистой ладони о стол, Капустин сказал начавшему приходить в себя седуусому эконому:

— Завтра, то есть уже сегодня, ребята должны быть сыты.

— А орлов вон этих надо срезать,— показывая на пуговицы мундира, добавил Гырдымов.

— Но помилуйте, это принуждение.

И Филиппу было непонятно, то ли он «орлов» не хочет срезать, то ли кормить ребят.

Капустин рубанул рукой:

— Или вы будете работать, или...

— Но, господа, но...

Жогину вдруг показался знакомым насмешливый взгляд Капустина. Как-то нанимал артель грузчиков. Бить по рукам те послали, кажется, этого Капустина. Парень был такой же костистый, оборванный, как все галахи, но держался гордо.

— Кладу по четвертаку,— сказал господин Жогин.

— По четвертаку нам нельзя. Одежда от кирпича рвется,— ответил тот с усмешкой. А рваться-то чему было у него?

— Ну вот послушай, любезный,— с лаской проговорил Степан Фирсович.— Тебе я положу целковый, а остальным по четвертаку.

Парень взглянул с прищуром, ухмыльнулся:

— Купить хотите?

— Зачем купить? Просто...— замялся Степан Фирсович. А парень обрезал:

— Всем по полтине!

— Нельзя же так. Ведь днем бы по четвертаку мне выгрузили.

— А сейчас не день. Это раз. Кроме того, если баржа простоит ночь, вы пароходчику больше дадите.

Знал все этот парень. Пришлось-таки платить артели по полтиннику.

Степан Фирсович посмотрел в лицо Капустину: «Вроде этот был? А может, не этот?» Сказал сговорчиво:

— Я вынужден согласиться.

— Только честно. Чтоб дети были сыты. И тех, которые на вокзал ушли, по трактирам скитаются, соберите.

— Я вынужден согласиться,— повторил эконо́м.

Когда вышли на улицу, уже светало. Скрипели колодцы, пахло печным дымом и свежими картофельными шаньгами. Филиппу снова захотелось есть. Собрав табак в складчину, они соорудили по сигарке и двинулись вдоль улицы, мимо заснеженных заборов. Прохожие ныряли обратно в

калитки, жались к обочине: шли неизвестные, черт знает на что способные люди. И шагали вместе с ними Филипп Солодянкин. Ему было приятно, что он идет с ними.

— Ну, мы ждем тебя, — бросив в Филиппову лапу свою костлявую ладонь, сказал Капустин и взглянул пристально.

— Приду, — ответил Солодянкин. — Иначе как же. Дело затеяли, останавливаться на половине нельзя.

ГЛАВА 2

Капустин потер избыточные пальцы, подышал на них, заиндевевшую чернильницу и с трудом подписал мандат.

— Ну, Филипп, иди. Твердо требуй, чтоб сегодня же напечатаны были все воззвания. Начнут артачиться, убеди, что это дело первой важности. В общем, иди.

Филипп трижды прочел мандат. Ему понравились железные слова документа, красная печать с молотом и винтовкой посередине круга. «С такой бумагой куда угодно можно», — решил он.

Выклячив у бородатого ремингтониста, дремавшего под плакатом «Царствию рабочих да не будет конца», осьмушку листа, опустил на колени около подоконника и огрызком карандаша начал писать. На одной стороне бумаги были набросанные лихим почерком счета паровой компании «Булычев и Тырышкин». У Филиппа же буквы выходили некругло. Он вспотел от непривычного занятия. «Надо волосы дыбом иметь, чтобы так много писать», — осуждающе сказал он себе.

В обмен на расписку заведующий оружием, пощелкав курком, выдал ему новый семизарядный самовзводный «велледок» и, словно семечек, насыпал в подставленный карман патронов.

Обутый в редкостные оранжевые краги, которые посчастливилось выменять на толчке у пленного мадьяра, он непреклонным шагом вышел из белого архиерейского подворья, где сейчас помещался Вятский горсовет, и по одной из многочисленных тропинок пересек заснеженную площадь.

На Филиппа оглядывались. Сопливого мальчишка с разожженным морозом круглым лицом, путаясь в рыжих дедовых валеницах, побежал следом. У барыньки, уткнувшейся личиком в беличью муфту, вспыхнул в глазах смешливый огонек. Мужик в скрипучих новых лаптях с бурными сукманками запустил пятерню в богатую боярскую бороду: вот так дивные обутки!